



אשכולות
КУЛЬТУРООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЭШКОЛОТ
www.eshkolot.ru

при поддержке

מכון אבי שניאור
מכון אבי שניאור



GOETHE
INSTITUT

ПОДЗЕМНЫЙ КЛАССИК

В.Г. ЗЕБАЛЬД КАК ПРЕДМЕТ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ



Материалы к лекции
Марии Степановой

Москва
январь 2015 г.
проект «Эшколот»
www.eshkolot.ru

Сюзан Зонтаг. Разум в трауре

Перевод с английского Б. Дубина. «Критическая масса», 2006, №2

Возможна ли сегодня большая литература? Как, при неумолимом измельчании писательских амбиций и, напротив, господстве серятины, болтовни и равнодушной агрессивности ходовых героев прозы, могла бы сегодня выглядеть литература, достойная своего имени? Среди немногих ответов на эти вопросы, доступных читающим по-английски, – написанное В. Г. Зебальдом.

По «Чувству головокружения», его третьему, последнему роману из переведенных на английский, можно судить, как Зебальд начинал. В Германии «Чувство» опубликовали в 1990 году, когда автору исполнилось сорок шесть; через два года появились «Кольца Сатурна». С англоязычным изданием «Изгнанников» в 1996-м аплодисменты перешли в овалы. Перед читателями предстал сложившийся по облику и темам, зрелый и даже больше того – вступивший в осеннюю пору писатель, который произвел на свет книгу настолько же необычную, насколько и безупречную. Его язык – тонкий, богатый, вещный – поражал, однако примеры такого рода, и многочисленные, на английском языке уже имелись. Что было новым и вместе с тем сильнее всего впечатляло, это какая-то сверхъестественная основательность зебальдовского голоса – серьезного, гибкого, выверенного, свободного от любых подвохов, пошлого ячества и иронических шпилек.

В зебальдовских книгах повествователь, носящий, как нам изредка напоминают, имя В. Г. Зебальда, путешествует, отмечая признаки обреченности окружающей природы, отшатываясь от опустошений, нанесенных современной цивилизацией, задумываясь над тайнами незаметных жизней. Подстегиваемый исследовательской задачей, которую подкрепляет память или новые свидетельства о безвозвратно ушедшем, он перебирает воспоминания, ворошит пережитое, предается галлюцинациям и сокрушениям.

Кто здесь рассказчик – Зебальд? Или вымышленный персонаж с одолженным у автора именем и некоторыми подробностями биографии? Родившийся в 1944 году в немецком городке, обозначенном в его книгах литерой В. (и дешифрованном на суперобложке как Вертах в краю Альгой¹), в двадцать с небольшим избравший местом жительства Великобританию, а родом занятий – карьеру преподавателя современной немецкой литературы в университете Восточной Англии, автор с намеком рассыпает эти и другие малозначительные факты, так же как приобщает к личным документам, воспроизведенным на страницах книг, свое зернистое изображение перед могучим ливанским кедром в «Кольцах Сатурна» и фотографию на новый паспорт в «Чувстве головокружения».

¹ Альгой (Allgau) – местность со своим диалектом (алеманским) на крайнем юге Баварии, к востоку от Боденского озера.

Тем не менее эти книги требуют, чтобы их читали как вымышленные. Они и в самом деле вымышлены, и не только потому, что многое в них, как мы с полным основанием полагаем, начисто выдуманно или полностью переименовано, поскольку немалая часть рассказанного существовала в реальности – имена, места, даты и прочее. Вымысел и реальность вовсе не противостоят друг другу. Одна из главных претензий английского романа – быть подлинной историей. Вымышленной книгу делает не то, что история в ней не подлинная, – она как раз может быть подлинной, частично или даже целиком, – а то, что она использует или эксплуатирует множество средств (включая мнимые или поддельные документы), создающих, по выражению теоретиков литературы, «эффект реальности». Книги Зебальда – и сопровождающие их иллюстрации – доводят этот эффект до последнего предела.

Так называемый «подлинный» повествователь – конструкция исключительно вымышленная: это *promeneur solitaire*² нескольких поколений романтической словесности. Одинокий, даже если у него есть спутники (Клара в первом абзаце «Изгнанников»), повествователь у Зебальда готов по первой прихоти отправиться в путь, поддаться вдруг вспыхнувшему любопытству к чьей-то уже закончившейся жизни (как в истории Пауля, любимого школьного учителя из «Изгнанников», которая приводит рассказчика к началу, в «новую Германию», или в истории дяди Адельварта, переносящей рассказчика в Америку). Другой мотив странствований развернут в «Чувстве головокружения» и «Кольцах Сатурна», где становится ясней, что рассказчик – тоже писатель с характерной для писателей ненасытностью и тягой к уединению. Часто рассказчик пускается в путь после кризиса, того или иного. И его путешествие – всегда поиск, даже если природа этого поиска не сразу понятна.

Вот как начинается вторая из четырех новелл романа «Чувство головокружения»:

В октябре 1980 года я отправился из Англии, где около четверти века прожил в местах, над которыми почти никогда не бывало солнечного неба, в Вену, надеясь, что перемена мест поможет мне справиться с тогдашним, особенно трудным периодом жизни. Но в Вене оказалось, что дни, не заполненные привычной рутинной писательства и ухода за садом, длятся неимоверно долго, и я буквально не знал, куда себя девать. Маячила перспектива каждое утро выходить из дому и безо всякой цели или плана бродить по городским улицам.

Эта длинная часть под названием «All'estero» («За рубежом») переносит рассказчика из Вены в различные городки Северной Италии и следует за первой главой, блистательным упражнением в кратком жизнеописании, где пересказывается биография неустанного путешественника Стендаля. Дальше идет тоже краткая третья глава об итальянском путешествии еще одного писателя, «Доктора К.», по маршрутам некоторых поездок в Италию самого Зебальда. Четвертая и последняя глава, столь же длин-

² «Одинокий мечтатель» (фр.) – отсылка к книге Жан-Жака Руссо «Прогулки одинокого мечтателя» (опубл. 1782).

ная, как вторая, и перекликающаяся с ней, озаглавлена «Il ritorno in patria» («Возвращение на родину»). В четырех частях «Чувства головокружения» намечены все главные темы Зебальда: странствия, жизнь писателей, которые непременно путешественники, груз наваждений и жизнь налегке. И всегда в них присутствуют картины уничтожения. В первой новелле выздоравливающему Стендалю снится пожар Москвы, а последняя завершается тем, что Зебальд задремывает над своим Пипсом³ и видит во сне Лондон, уничтожаемый Великим пожаром.

В «Изгнанниках» используется та же четырехчастная музыкальная структура, в которой четвертая часть самая длинная и самая сильная. Те или другие путешествия лежат в основе всех вещей Зебальда: это скитания самого автора и жизни гонимых с места на место людей, которых автор вызывает в памяти.

Вот фраза, открывающая «Кольца Сатурна»:

В августе 1992 года, когда самые жаркие дни подошли к концу, я отправился пешком по графству Суффолк в надежде как-то заполнить пустоту, которую чувствовал, завершив большой кусок намеченной работы.

Весь роман представляет собой отчет о пешей прогулке с целью заполнить пустоту. Если обычное путешествие приближает человека к природе, то здесь оно ведет от одной стадии упадка к другой. Уже в начале книги сообщается, что рассказчик был до такой степени подавлен «признаками упадка», которые встретил по пути, что через год после начала путешествия его доставили в Норвичскую больницу «в состоянии почти полной прострации».

Странствия под знаком Сатурна, символизирующего меланхолию, – предмет всех трех книг, написанных Зебальдом в первой половине девяностых. Их главная тема – упадок: упадок природы (плач по деревьям, уничтоженным голландской спорыньей, и другим, уничтоженным в 1987 году ураганом, в предпоследней главе «Кольца Сатурна»); упадок городов; упадок целых укладов жизни. В «Изгнанниках» описывается путешествие 1991 года в Довиль⁴, поиски «хоть каких-то остатков прошлого», приводящие к выводу, что «это легендарное прежде место, как и все другие, которые сегодня посещают, независимо от страны или части света, безнадежно испорчено и стерто шоссейными дорогами, магазинами и лавочками, а главное – неутолимой жадой разрушения». Воссозданный в четвертой новелле «Чувства головокружения» приезд домой, в родной В., где рассказчик, по его словам, не был с детства, – это еще один многодневный *recherche du temps perdu*⁵.

³ Пипс Сэмюэль (1633–1703) – английский государственный деятель и писатель, известен своим «Дневником», который вел в 1660–1669 годах; здесь имеется в виду описанный им лондонский пожар 1666 года, сровнявший с землей две трети столицы.

⁴ Довиль – прибрежный курортный городок в Нормандии, излюбленная натура французских художников XIX – начала XX веков («Парусники в Довиле» Рауля Дюфи и др.).

⁵ Поиск утраченного времени (фр.) – отсылка к заглавию многотомного романа Пруста.

Высшая точка «Изгнанников», четырех историй о людях, потерявших родину, – пронзительный рассказ (в романе это рукопись воспоминаний) об идиллическом еврейском детстве в Германии. Рассказчик долго описывает свое решение вернуться в Киссинген, где он прожил жизнь, чтобы посмотреть, осталось ли что-нибудь от прежнего города. Поскольку «Изгнанники» открыли Зебальда англоязычной публике, а герой последней новеллы, известный художник по имени Макс Фербер, – еврей, которого мальчиком ради его спасения переправляют из нацистской Германии в Англию (воспоминания оставлены его матерью, вместе с мужем погибшей потом в концлагерях), большинство рецензентов, особенно в Америке, хотя и не только в ней, автоматически зачислили роман по ведомству литературы о Холокосте. Книга плача, которая приходит к концу вместе с самим плачущим, «Изгнанники» невольно обусловили разочарование, вызванное позднее у некоторых поклонников Зебальда следующей его переведенной на английский книгой, «Кольца Сатурна». Эта вещь не делилась на отдельные рассказы, а представляла собой цепочку или вереницу новелл, где одна подхватывала другую. «В Кольцах Сатурна» блестяще оснащенный ум воображает себе, что сэр Томас Браун⁶, посетив Голландию, присутствует на уроке анатомии, который изобразил Рембрандт; вызывает в памяти романтический эпизод из жизни Шатобриана времен его английского изгнания; вспоминает благородные усилия Роджера Кейзмента рассказать миру о бесчинствах леопольдовского режима в Конго⁷; описывает изгнанническое детство и первые морские приключения Джозефа Конрада, как излагает и множество другого. Разворачивая кавалькаду эрудированных и занятых историй, влюбленных рассказов о встречах с такими же книгоочехами (двумя преподавателями французской словесности, один из которых – исследователь Флобера, переводчик и поэт Майкл Хэмбургер⁸), «Кольца Сатурна», после предельно мучительных «Изгнанников», могли показаться публике всего лишь «литературной штучкой».

Будет жаль, если читательские ожидания, вызванные «Изгнанниками», повлияют и на восприятие «Чувства головокружения» – книги, которая делает еще ясней природу путевых рассказов Зебальда, нигде не находящих себе покоя, одержимых историей и не покидающих область вымысла. Путешествие освобождает ум для игры ассоциаций, для несчастий (и ошибок) памяти, для наслаждения одиночеством. Разум одинокого повествователя – вот действительно главный герой книг Зебальда, остающийся собой даже там, где он делает лучшее из всего, что умеет делать: подытоживая, пересказывает жизнь других.

⁶ Браун Томас (1605–1681) – английский медик, барочный писатель-эссеист.

⁷ Кейзмент Роджер (1864–1916) – английский писатель, путешественник, дипломат в Африке и Южной Америке, деятель Ирландского национального движения. В 1904 году опубликовал «Конголезский отчет» о незаконных действиях колониальной администрации бельгийского короля Леопольда II.

⁸ Хэмбургер Майкл Питер Леопольд (род. в 1924) – английский поэт, выходец из Германии, филолог, переводчик Гёльдерлина, Бодлера, Целана, Г. М. Энциенсбергера.

В «Чувстве головокружения» английская часть жизни рассказчика отодвинута в тень. Но еще больше, чем две другие книги Зебальда, «Чувство» представляет собой автопортрет сознания – сознания, хронически неудовлетворенного; сознания, беспрестанно мучающего себя; сознания, предрасположенного к галлюцинациям. Гуляя по Вене, рассказчик, кажется, узнает в одном из прохожих Данте, покинувшего родной город, чтобы не быть сожженным у позорного столба. Сидя на корме венецианского вапоретто, он представляет себе Людвига Баварского⁹; проезжая автобусом по берегу озера Гарда в сторону Ривы, видит подростка, как две капли воды похожего на Кафку. Рассказчик, рекомендуемый здесь иностранцем, – слушая болтовню немецких туристов в гостинице, он хотел бы не понимать их язык, «не быть их соотечественником и вообще ничьим соотечественником», – это еще и разум в трауре. В одном пассаже он обмолвливается, что не знает, жив ли еще или уже нет.

На самом деле – и то и другое: он странствует по миру живых, а воображение переносит его в край мертвых. Путешествие нередко ведет назад. Возвращаются, чтобы закончить дело; чтобы пройти по памятным следам; чтобы повторить (или дополнить) пережитое; чтобы – как в четвертой части «Изгнанников» – прийти к окончательному, беспощадному озарению. Героические попытки вспомнить и вернуться требуют жертв. Самые сильные страницы «Чувства головокружения» сосредоточены на цене подобных поступков. Английский титул *Vertigo*, приблизительный перевод игрового немецкого заглавия *Schwindel. Gefuehle* (буквально «Головокружение. Чувство»), с трудом вмещает все оттенки паники, оцепенения и замешательства, описанные в книге. Как рассказывает повествователь в «Чувстве головокружения», в первый свой венский день он забрался в такую даль, что у него, как выяснилось по возвращении в гостиницу, башмаки не выдержали. В «Кольцах Сатурна» и особенно в «Изгнанниках» ум не настолько замкнут на собственных проблемах, и рассказчик реже бросается в глаза. В отличие от более поздних книг «Чувство головокружения» целиком посвящено страдающему сознанию повествователя. Но душевный недуг, подтачивающий покой рассказчика, передан здесь настолько лаконично, что сознание владеет собой и нигде не впадает в солипсизм, как это случается с менее внимательной к себе литературой.

Широта взгляда и точность деталей возвращают неустойчивое сознание рассказчика на твердую почву. Поскольку исходным толчком к пробуждению мысли в книгах Зебальда всегда остается путешествие, перемещение в пространстве придает его картинам, и особенно картинам природы, кинетический напор. Зебальдовскому рассказчику *не сидится*.

⁹ Людвиг II (1845–1886) – король Баварии (с 1864), поклонник поэзии и театра, покровитель Рихарда Вагнера, архитектор-любитель. Странности в личной жизни – в 1886 году он был признан невменяемым – и загадочная смерть сделали его героем позднейшего искусства (фильм Л. Висконти «Людвиг», 1972; роман Л. А. де Вильены «Золото и безумие над Баварией», 1999, и др.)

Где мы слышали в англоязычной словесности такой убедительный и четкий голос, настолько непосредственный в выражении чувств и с такой сосредоточенностью отдающийся передаче «реального»? На ум может прийти Д. Г. Лоуренс или «Загадка переезда» Найпола. Но им почти неизвестна взволнованная открытость зебальдовской прозы. Тут нужно обращаться к немецким корням. Жан-Поль, Франц Грильпарцер, Адальберт Штифтер, Роберт Вальзер, Гофмансталь с его «Письмом лорда Чандоса», Томас Бернхард – вот лишь несколько предшественников Зебальда, новейшего мастера этой литературы сокрушений и обеспокоенной мысли. Общее мнение изгнало из английской литературы последнего века беспрестанное сожаление и лирику как будто бы несовместимые с прозой, напыщенные и претенциозные. (Даже такой замечательный и не подпадающий под данное правило роман, как «Волны» Вирджинии Вулф, не избежал подобной критики.) Послевоенная немецкая литература, не забывшая, каким подходящим материалом для тоталитарного мифостроительства оказался возвышенный тон прежнего искусства и литературы, в особенности – немецких романтиков, подозрительно относилась ко всему, что напоминало романтическое или ностальгическое любование прошлым. В подобных условиях только немецкий писатель, избравший постоянным местом жительства границу, мог позволить себе, оставаясь в пределах литературы с новейшей неприязнью к высокому, такой убедительный благородный тон.

Даже если не говорить о моральной горячности и даре сострадания (здесь Зебальд идет рука об руку с Бернхардом), зебальдовское письмо всегда остается живым, а не просто риторикой, настолько оно проникнуто желанием все назвать, сделать видимым, а также благодаря поразительному способу сопровождать сказанное картинками. Билеты на поезд и листки, вырванные из дневника, зарисовки на полях, телефонная карточка, газетные вырезки, фрагмент живописного полотна и, конечно, фотографии, испещряющие страницы его книг, передают очарование и, вместе с тем, несовершенство любых реликвий. Скажем, в «Чувстве головокружения» рассказчик вдруг теряет паспорт (точнее, это делает за него гостиничная обслуга). И вот перед нами документ, составленный о потере полицией Ривы, с таинственно замазанным чернилами «Г» в имени В. Г. Зебальд. Тут же – выданный германским консульством в Милане новенький паспорт с фотографией. (Да-да, наш профессиональный иностранец разъезжает по миру с немецким паспортом – по крайней мере, разъезжал в 1987 году.) В «Изгнанниках» эти зримые документы выглядят талисманами. Причем, кажется, не все из них подлинные. В «Кольцах Сатурна» – и это куда менее интересно – они уже просто иллюстрируют сказанное. Если рассказчик заводит речь о Суинберне – в середине страницы дается уменьшенный портрет Суинберна; если рассказывает о посещении кладбища в Суффолке, где его внимание привлекло надгробие скончавшейся в 1799 году женщины, которое он описывает в подробностях, от льстивой эпитафии до отверстий, с четырех сторон просверленных у края каменной плиты, – мы, и опять в середине страницы, видим мутный фотоснимок могилы.

В «Чувстве головокружения» документы несут другой, более пронзительный смысл. Они как бы говорят: «Я рассказал вам чистую правду», – эффект, которого вряд ли ждет от литературы обычный читатель. Зримое доказательство придает описанному словами таинственный избыток пафоса. Фотографии и другие реликвии, воспроизведенные на странице, – тончайшие знаки того, что прошлое прошло.

Временами они выглядят как прочерки в «Тристраме Шенди» – намек для посвященных. В других случаях эти настойчиво предъявляемые глазу реликвии смотрятся как дерзкий вызов самодостаточности слов. И все же, как пишет Зебальд в «Кольцах Сатурна», рассказывая о своем любимом пристанище, Морской читальне в Саутуолде, где он корпит над записями в вахтенном журнале патрульного судна, снявшегося с якоря осенью 1914 года, «всякий раз, как я расшифровывал одну из этих записей, мне казалось, что след, давным-давно исчезнувший в воздухе или на воде, вдруг проступал на странице». И тогда, продолжает рассказчик, закрывая мраморную обложку вахтенного журнала, он снова задумался «о таинственной силе писаного слова».

[2000]

Перевод с английского и примечания Бориса Дубина

В.Г. Зебальд и фотография



неуверенности и слабости в ногах, которое я испытывал, бродя по центру города, по Иерусалем-стра-ат, Нахтегал-страат, Пелман-страат, Парадиз-стра-ат, Измерсель-страат, по многим другим улицам и переулкам, пока наконец мучной головной болью и дурными мыслями, не напал спасительно-го убежища в зоопарке, расположенном на площади Астридалейн, в непосредственной близости от Центрального вокзала. Там, на укравшейся в полу-тени скамейке возле гниющего вольера, в котором носились бесчисленные пестрые чирки и заблудки, я, понемому приходя в себя, просидел почти весь день. Уже под вечер я пошел прогуляться по парку и заглянул в открывшийся несколько меся-цев назад павильон ночных животных, в так назы-ваемый нокутари. Прошло какое-то время, прежде чем глаза привели к искусственному полушарью и я смог различить за стеклом, в свете бледной луны, отдельных животных, занятых своей суме-речной жизнью. Кажется, тут были полевые мыши, тушканчики из Египта или из пустыни Гоби, про-стые местные ежи, филины и совы, австралийские сумчатые крысы, древесные куницы, сонги и полу-обезьяны, которые перепрыгивали с ветки на ветку, шныряли по серо-желтому песчаному настилу, то и дело исчезая в бамбуковых зарослях. По-настоя-щему запомнились мне только енот, за которым я долго наблюдал, следя, как он сидит с странным видом у ручья и перебрит отряхивает от аблота, все моет его, моет, будто надеется, что эта его выходя-щая за все разумные пределы чистоплотность по-может ему вырваться из странного псевдомира, ку-да он угодил за какие-то ему неизвестные заслуги. От всей многочисленной живности, водившейся в нокутари, у меня сложилось общее впечатление,

6

будто у большинства из них необычайно большие глаза и прстальный, испытующий взгляд, какой

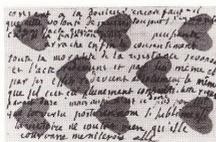


встречается у живописцев и философов, пытаю-щихся посредством чистого созерцания и чистого разума проникнуть во тьму, что окружает нас.



Помню этого, помнится, меня занимал вопрос: что происходит в нокутари, когда наступает настоя-щая ночь и зоопарк закрыт для посетителей? Вполю-не вероятно, им там включают яркий электриче-ский свет, дабы предоставить возможность, пока над их перевернутой мини-вселенной занимается день,

7



notwithstanding, Rousseau does still succeed in accomplishing a considerable amount. He finishes the *Confessions* and reads from them in various salons in sessions lasting up to seventeen (!) hours, to some extent anticipating Franz Kafka's desire to be allowed to



62

read aloud, to an audience condemned to listen, the whole of Sennhal's *Education animale* at one sitting. There follow a few more treatises, on botany and on the government of Poland, as well as the so-called *Dialogues*, in which Rousseau appears as the judge of Jean-Jacques. In his last two years while out walking he makes notes, on playing cards, for the *Réveries d'un promeneur solitaire*, which he completes in April 1780. After that he leaves Paris and moves into a small house in the park at Ermenonville which the Marquis de Ginardin has placed at his disposal. He lives there for five more weeks in early summer. He rises at dawn, goes for walks, leaning on his cane, in the beautiful surroundings, collects leaves and flowers and sometimes takes a boat out on to the lake. On the 2nd of July – he is sixty-six years old – he comes back from one of his walks with a terrible headache. Thérèse helps him into a chair. Felled by a stroke, he collapses on to the floor and, after a few convulsions, dies. Two days later he is buried at Ermenonville on the Isle of Poplars. In the years which follow, the Marquis



63

gungslos herabhängenden Armen stand er auf einem Schemelchen und starrte hinaus auf das Meer, wo manchmal, sehr langsam, die Dampfschiffe vorbeiführen nach Boston und nach Halifax. Als der Ambros ihn fragte, zu welchem Zweck er hier heraufgegangen sei, sagte Cosmo, er habe nach seinem Bruder schauen wollen. Einen solchen Bruder aber hat es, dem Adelwarth-Onkel zufolge, nie gegeben. Bald darauf, nachdem eine gewisse Besserung eingetreten war, reiste der Ambros mit Cosmo auf Anraten der Ärzte zu einer Lufikur nach Banff im kanadischen Hochgebirge. Den ganzen Sommer verbrachten sie in dem berühmten Banff Springs Hotel, der Cosmo zumeist wie ein braves, aber



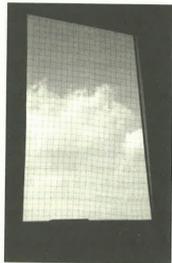
142

an nichts interessiertes Kind, der Ambros vollauf beschäftigt mit seiner Arbeit und der Sorge um ihn. Mitte Oktober begann es zu schneien. Cosmo sah viele Stunden lang zum Turmfenster hinaus auf die ungeheuren, ringsherum sich ausdehnenden Tannenwälder und den gleichmäßig aus unvorstellbarer Höhe niedertaumelnden Schnee. Er hielt sein Taschentuch zusammengeballt in der Faust und biß wiederholt vor Verzweiflung in es hinein. Als es finster wurde draußen, legte er sich auf den Boden, zog die Beine an den Leib und verbarg das Gesicht in den Händen. In diesem Zustand mußte der Ambros ihn nach Hause bringen und eine Woche später in die Nervenklinik Samaria in Ithaca, New York, wo er innerhalb desselben Jahres noch, stumm und unbeweglich, wie er war, verdamuerte.

Über ein halbes Jahrhundert liegen diese Ereignisse schon zurück, sagte die Tante Fini. Ich war zu jener Zeit in Wettenhausen im Institut und wußte weder etwas von Cosmo Solomon, noch hatte ich die geringste Vorstellung von dem aus Gopprechts ausgewanderten Bruder unserer Mutter. Selbst nach der Ankunft in New York erfuhr ich lange Zeit nichts über die Vorgeschichte des Onkels Adelwarth, trotzdem ich andauernd in Kontakt stand mit ihm. Er war seit dem Ableben des Cosmo Butler in dem Haus auf Rock Point. Regelmäßig

143

ich, in einem Zustand nahezu gänzlicher Unbeweglichkeit, eingeliefert wurde in das Spital der Provinzhauptstadt Norwich, wo ich dann, in Gedanken zumindest, begonnen habe mit der Niederschrift der nachstehenden Seiten. Genau entsinne ich mich noch, wie ich gleich nach der Einlieferung, in meinem im achten Stockwerk des Krankenhauses gelegenen Zimmer überwältigt wurde von der Vorstellung, die in Suffolk im Vorsommer durchwanderten Weiten seien nun enghäutig zusammengeschrunpft auf einen einzigen blinden und tauben Punkt. Tatsächlich war von meiner Bettstatt aus von der Welt nichts anderes mehr sichtbar als das farblose Stück Himmel im Rahmen des Fensters.



10

Der im Laufe des Tages des öfteren schon in mir aufgestiegene Wunsch, der, wie ich befürchtete, für immer entschwindenden Wirklichkeit durch einen Blick aus diesem sonderbarerweise mit einem schwarzen Netz verhängten Krankhausfenster mich zu versichern, wurde bei Einbruch der Dämmerung so stark, daß ich mich, nachdem es mir irgendwie, halb bäuchlings, halb seitwärts gelungen war, über den Bettrand auf den Fußboden zu rutschen und auf allen viere die Wand zu erreichen, trotz der damit verbundenen Schmerzen aufrichtete, indem ich mich an der Fensterbrüstung mühsam emporzog. In der kranpflauen Haltung eines Wrens, das sich zum erstenmal von der ebenen Erde erhoben hat, stand ich dann gegen die Glasscheibe gelehnt und mußte unwillkürlich an die Szene denken, in der der arme Gregor, mit zitternden Beinchen an die Sessellehne sich klammernd, aus seinem Kabinett hinausblickt in undeutlicher Erinnerung, wie es heißt, an das Befreie, das früher einmal für ihn darin gelegen war, aus dem Fenster zu schauen. Und genau wie Gregor mit seinen trübe gewordenen Augen die stille Charlottenstraße, in der er mit den Seinen seit Jahren wohnte, nicht mehr erkannte und sie für eine graue Einöde hielt, so schien auch mir die vertraute Stadt, die sich von den Vorhöfen des Spitals bis weit gegen den Horizont hin erstreckte, vollkommen fremd. Ich konnte mir nicht denken, daß in dem ineinanderverschobenen Gemäuer dort unten noch irgend etwas sich regte, sondern glaubte, von einer Klippe aus hinabzublicken auf ein steineres Meer oder ein Schotterfeld, aus dem wie riesige Findlingsblöcke die finsternen Massen der

11

Though the body is open to contemplation, it is, in a sense, excluded, and in the same way the much-admired verisimilitude of Rembrandt's picture proves on closer examination to be more apparent than real. Contrary to normal practice, the anatomist shown here has not begun his dissection by opening the abdomen and removing the intestines, which are most prone to putrefaction, but has started (and this too may imply a punitive dimension to the act) by dissecting the offending hand. Now, this hand is most peculiar. It is not only grotesquely out of proportion compared with



the hand closer to us, but it is also anatomically the wrong way round: the exposed tendons, which ought to be those of the left palm, given the position of the thumb, are in fact those of the back of the right hand. In other words, what we are faced with is a transposition taken from the anatomical atlas, evidently without further reflection, that turns this otherwise true-to-life painting (if one may so express it) into a crass misrepresentation at the exact centre point of its meaning, where the incisions are

16

bestehenden Besitz. Wie abweisend, habe ich mir gedacht, muß Somerleyton zur Zeit des Großunternehmers und Parlamentsabgeordneten Morton Peto gewesen sein, als vom Keller bis zum Dach, vom Tafelgeschir bis zu den Aborten alles nagelneu war, bis in die winzigsten Einzelheiten aufeinander abgestimmt und von gnadenlos gutem Geschmack. Und wie schön dünkte das Herrenhaus mich jetzt, da es unmerklich dem Rand der Auflösung sich näherte und dem stillen Ruin. Andererseits freilich bedrückte es mich, als ich nach dem Rundgang wieder ins Freie hinaus trat, in einer der größtenteils aufgelassenen Volieren eine einsame chinesische Wachtel zu sehen, die — offenbar in einem Zustand der Demenz — in einem fort am rechten Seitengitter ihres Käfigs auf und ab lief und jedesmal, bevor sie kehrte, den Kopf schüttelte, als begreife sie nicht, wie sie in diese



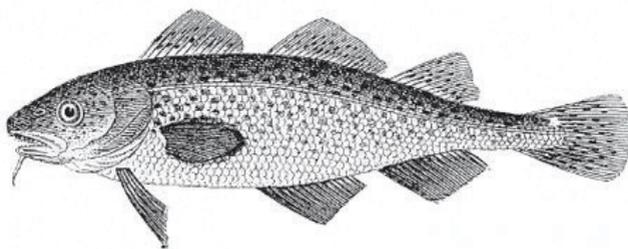
aussichtslose Lage geraten sei.
Im Gegensatz zu dem allmählich verdämmern

50

Haus waren die Anlagen, die es umgaben, jetzt, ein Jahrhundert nach der Glanzzeit von Somerleyton, auf dem Höhepunkt ihrer Evolution. Zwar mochten die Rabatten und Beete einst farbenprächtiger und besser gepflegt gewesen sein, aber dafür füllten die von Morton Peto gepflanzten Bäume nun auch den Luftraum über dem Garten aus, und die von den damaligen Besuchern bereits bewunderten Zedern, von denen einige ihr Astwerk über nahezu einen Viertelmorgen ausbreiteten, waren inzwischen ganze Welten für sich. Es gab Sequoien, die höher als sechzig Meter hinauf ragten, und seltene Sykomoren, deren äußerste Zweige sich niedergesenkt hatten auf den Rasen und die dort, wo sie die Erde berührten, festgewachsen waren, um von neuem aufzustreben in einem vollkommenen Kreis. Man konnte sich leicht vorstellen, daß diese Platanenarten sich über das Land ausbreiteten wie konzentrische Ringe auf dem Wasser und daß sie, indem sie solchermaßen ihr Umfeld eroberten, nach und nach schwächer wurden, in sich selber verwachsen und von innen her abstarben. Manche der helleren Bäume schwebten wolkengleich über dem Park. Andere waren von einem tiefen, undurchdringlichen Grün. Terrassenförmig stiegen die Kronen übereinander, und wenn man die Schärfe der Augen nur ein wenig verstellte, dann war es, als schaute man in ein von riesigen Wäldern überzogenes Gebirge hinein. Bei weitem am dichtesten und grünsten aber schien mir das in der Mitte des geheimnisvollen Geländes gelegene Eibenlabyrinth von Somerleyton, in welchem ich mich so gründlich verlor, daß ich erst wieder herausfand, nachdem ich mit dem Stie-

51

В.Г. ЗЕБАЛЬД КАК ПРЕДМЕТ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ





ДЛЯ ЗАМЕТОК



אשכולות
КУЛЬТУРНО-РАЗВИВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЭШКОЛОТ
www.eshkolot.ru

при поддержке

